



ДАРЬЯ ВЕРЯСОВА

• Великий пост •

Дневник неорита



Дарья Евгеньевна Верясова

Великий пост.

Дневник неопита

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=53855650

Великий пост. Дневник неопита. Монастырская проза: Фонд социокультурных проектов «Традиция»; Москва; 2020

ISBN 978-5-00152-046-7

Аннотация

Автор книги Дарья Верясова – поэтесса, прозаик и драматург. В 2019 году за прозу «Великий пост. Дневник неопита» она стала лауреатом Международной литературной премии имени Иннокентия Анненского.

Подробно описывая жизнь в монастыре на протяжении Великого поста, автор не скрывает духовной неопытности своей героини и незнания ею церковной жизни. Она делится очень личным и сокровенным, в том числе переживаниями о греховной любви, от которой она скрылась в обители. В монастыре девушка прикасается к чуду, которое меняет попавших туда людей, преображает их души и меняет судьбы.

Книга будет интересна как людям верующим, так и всем интересующимся православием.

Содержание

Об авторе	6
Предисловие	8
Пролог	12
Прощеное воскресенье	16
День первый	22
День второй	27
День третий	32
День четвертый	35
День пятый	39
День шестой	44
День седьмой	46
Жаворонки. День восьмой	53
День девятый	58
День десятый	60
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Дарья Евгеньевна Верясова
Великий пост.
Дневник неопита.
Монастырская проза

Дарья Верясова

Великий пост.
Дневник неопита
монастырская проза

© Д. Е. Верясова, 2020

© Фонд «Традиция», 2020

Об авторе

Дарья Верясова – современная поэтесса, прозаик и драматург. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького в Москве. Работала журналистом, сотрудником редакций художественно-публицистических журналов, руководителем литературно-драматической части ведущего театра Республики Хакасия.

Автор является лауреатом международного конкурса драматургов «Евразия», литературной премии фонда В. П. Астафьева, поэтической премии «Пушкин в Британии» и «Илья-премии». Дипломант поэтических конкурсов «Заблудившийся трамвай» и «Новый звук».

Жила в монастыре, писала очерки из воюющих Донецка и Луганска. Участвовала в ликвидации последствий наводнения в Крымске в 2012 году, на основании этих событий была написана документальная повесть «Муляка», опубликованная в журнале «Волга» и вошедшая в лонг-лист премии «Повести Белкина» и в шорт-лист премии «Дебют». Автор книг стихов «Крапива», «Дом-музей», книги прозы «Муляка. Две повести».

Стихи, проза, исторические статьи и критические заметки Дарьи Верясовой публиковались в журналах «Волга», «День и ночь», «Дружба народов», «Октябрь», ряде альманахов и коллективных сборников. Постановки ее пьес регулярно по-

являются в самых известных театрах страны и зарубежья.

Кроме того, занимается историей обороны Москвы и содержит сайт «Как Зоя», посвященный подвигу Зои Космодемьянской, Веры Волошиной и других героев воинской части № 9903.

В 2019 году с прозой «Великий пост. Дневник неопита» стала лауреатом Международной литературной премии имени Иннокентия Анненского.

Предисловие

С самой первой прозаической вещи, которую я прочитала у Дарьи Верясовой, несомненен был этот взгляд и почерк прозаика, способность выстроить повествование; в нескольких предложениях явить живую картинку; передать красно-речивый диалог; несколькими штрихами обрисовать персонажей и, отсекая все необязательное и лишнее, подметить деталь, которая дает ключ к пониманию той или иной ситуации и подоплеку.

«Дневник неопита» читаешь с неизбывным интересом, и главный секрет этого – в характере самой героини, которая вызывает симпатию своим простодушием, не чурающимся самоиронии. Неопит – в данном случае автор Дарья Верясова – без кокетства описывает свои ощущения, с которыми она вступает на новую для нее стезю, не смущается поведать и о своем незнании церковной жизни, и о духовной неопытности, и даже о житейской неловкости во время несения послушания на кухне, словно тем самым приглашает читателя пройти вместе с ней эти ступени познания и преображения.

Итак, героиня уходит от мира в монастырь, чтобы пережить там сердечную драму, душевный надлом и неприкаянность, которые в течение монастырских дней Великого поста рассеиваются, вытесняются красотой богослужения, аскезой духовного подвига, сопричастностью к жизни других насель-

ниц монастыря, соприкосновением с иной – духовной – реальностью, венцом которой оказывается праздник Воскресения Христова.

Героиня совершает свой недлинный монастырский путь послушницы от Прощеного воскресенья до Пасхи. Однако физическое время ее пребывания в монастыре не совпадает с временем метафизическим, настолько оно насыщено новыми открытиями и неожиданным для нее опытом духовного освобождения. «Душу тоже надо лечить, когда она болеет. Я хоть в себя пришла», – отвечает она на эсэмэски друзей и подруг, недоумевающих по поводу ее ухода в монастырь и пишущих ей порой комментарии, свидетельствующие об их собственном духовном невежестве, а порой и цинизме.

Впрочем, Дарья Верясова не занимается в своей прозе ни катехизаторством, ни миссионерством, разве что вслед за ней в монастырь на Страстную неделю выбирается из Москвы ее близкая подруга. Здесь нет ни поучений, ни наставлений, ни свидетельств духовных прозрений, но по мере развития сюжета, разворачивающегося на наших глазах изо дня в день, читатель видит, как происходит освобождение этой души, отягченной и ожесточенной скорбями жизни, и как она, словно бабочка из куколки, оживает и вылетает на волю. Это ощущение благодати как силы отталкивания от земли, как ощущения полета несколько раз получает свое словесное воплощение. Так, после прикосновения к чудотворной иконе появляется описание, напоминающее волшебную сказку:

«И во время службы поняла каждой клеткой, что в теле не болит ровным счетом ничего из того, что болело накануне, а поднимаясь вверх после земного поклона, можно случайно оттолкнуться от пола и взлететь под купол. Только неудобно при матушке, поэтому надо прочнее держаться за землю.

И столько в этом удивительной правды, что не было ни страшно, ни странно. Наверное, именно это и есть благодать – застывшее ощущение легкости и покорности судьбе. Как у поля, что будет перекопано, как у неизвестных стихов Иванова¹, что будут читаться наизусть».

Такое же чувство возникает после соборования:

«Я похожа на воздушный шар, из которого выгнали углекислый газ и заменили на гелий. И теперь я не волочусь по полу, а тычусь в потолок. Меня тянут вниз, а я – пык! – назад! А если выбраться на улицу, то можно улететь прямо в небо».

Обаятелен в произведении этот «незамыленный», свежий, юный, порой почти по-детски непосредственный взгляд на монастырский уклад, на церковных прихожан, на послушниц, с их разговорами, жизненными историями, отношениями меж собой, женскими откровенностями.

Например, то, как монахини, послушницы и прихожане во время Прощеного воскресенья подходят к матушке игу-

¹ Иванов Георгий Владимирович (1894–1958) – русский поэт, прозаик и публицист, переводчик, критик. Один из крупнейших поэтов русской эмиграции. – *Примеч. ред.*

меньше, чтобы попросить прощения, напоминает ей детскую игру в «ручеек». А одна из матушек, распоряджающихся на кухне, удивляет своим сходством с бабушкой в рекламе «Домика в деревне».

Или вот такая – по-детски увиденная и описанная сценка. «Я собираю палки и доски, которыми придавливают от ветра целлофан на грядках. Из-под руки выскакивает крупная жаба и ныряет под забор. Какое-то время мне виден ее зеленый зад, потом и он исчезает.

“Ускакала к своим, – думаю я. – Фу такой быть!”»

Проза заканчивается тем, что героиня собирается сразу после Пасхи покинуть монастырь, ибо монашество – это не про то, как можно удобно устроиться неприкаянному и скорбящему человеку за высокими стенами, отгородившись от мира, а про сугубое призвание. У героини оно другое. Главное, что мы расстаемся с ней, когда она бредет с подругой по монастырским окрестностям, блаженно и вольно распевая песни на всю ивановскую.

Это именно то, о чем говорится «душа поет»! Достойное завершение и Великого поста, и повести о несчастной любви, преображенной в пасхальный Свет.

Олеся Николаева, поэтесса, прозаик, эссеист.

Член Союза писателей СССР. Лауреат премии «Поэт» (2006),

Патриаршей литературной премии (2012) и премии журнала поэзии «Арион» (2019).

Пролог



- Трудно в миру?
- Очень.

– Ну, поживи... – архимандрит внимательно взглянул на меня, – год проживешь?

– Год?! – ужаснулась я.

– Разве тебе здесь плохо?

Нет, в монастыре было хорошо. Небольшая девичья пустынь вдали от столицы оказалась тем местом, где я снова начала улыбаться. Так бывает: смысл борьбы с трудностями вдруг исчезает, заканчивается все, что держало тебя на крючке, дорогие люди становятся безразличными, исчезновение под колесами электрички уже не кажется страшным...

Но год?!

– Москва скоро в преисподнюю рухнет, нечего там делать. Грехи да скорби. А здесь благодать, икона «Державная» чудотворная, матушка заботливая, добрая. Живи! Сейчас Великий пост начнется, на Пасху похристосуемся, потом Троица, а дальше Успение, Рождество – вот и год пройдет. А за человека того не молись, не надо. Ему не поможешь, а себя загубишь.

– Хорошо, – сказала я, – постараюсь.

Накануне матушка настоятельница тоже уговаривала меня остаться:

– Не хочется тебя отпускать. Слезы одни в Москве. А у нас – похорошела, похудела! Глазки засияли. А ведь приехала чучело чучелом.

«Лотта, голубушка, можно у вас вписаться ненадолго?» –

написала я Лотте.

«Дарьюшка, разумеется!» – ответила она.

Почти случайный отъезд в монастырь походил на бегство: в панике я не взяла необходимых вещей, забыла у друзей телефон, не сделала важных дел. И теперь, месяц спустя, надо было приехать в Москву хотя бы на неделю, чтобы с чистой совестью исчезнуть на неизвестный срок.

Сестры хором отговаривали: дескать, будет трудно вернуться сюда из столицы – появятся мелкие и неприятные преграды, но я верила в свое возвращение настолько, что оставила в келье все привезенные вещи.

Конечно, я не могла не повидаться с тем человеком, которого безуспешно пыталась выкинуть из головы. Я искала встречи и, еле выдержав неделю, позвонила. Мы засели в какой-то кафешке, что-то ели и что-то пили.

– Может быть, нам стоит остаться друзьями? – спросил он.

Я ответила в духе времени:

– Никогда мы не будем братьями!

Ничего нельзя было исправить – слишком далеко зашло. Только рвать по живому. Характер наших небратских отношений подтвердился в тот же вечер, и было непонятно, как можно снова уехать от необходимого мне, но столь равнодушного человека.

Возвращение удалялось от внутреннего зора и грозило растаять в неизведанной дали. Вишенкой на торте стали

утренняя температура и насморк с кашлем.

«Ты издеваешься?» – подумала я в адрес того, кто заграждал мне путь. Встала, написала записку Лотте, порыдала над загубленной жизнью и поехала.

Дикая безысходность настигла меня в Теплом Стане, на автобусной станции, но там и без того невесело бывать человеку. В районном центре сорок минут под дождем ждала такси, чтобы добраться в нужную глушь.

Я ступила за ограду, увешанную плакатами с просьбой не подкидывать в монастырь кошек, и перекрестилась на икону над входом в храм. Я вернулась.

Прощеное воскресенье



В нашем приходе много детей с красивыми лицами. Под-
ростки-младенцы, мальчики-девочки. Я этим детям зави-
дую. В их отношении к Церкви раскованности больше, чем
я сумею в себе воспитать когда-либо: в их сознании уже жи-
вут правила и обряды, о существовании которых только сей-
час начинаю узнавать. Причем через этих же детей. Долго не
могла понять, что происходит перед исповедью, когда свя-
щенник поворачивается к людям и все они вразной про-

износят разные наборы букв, и оборачивалась в панике, пока не услышала, как малыш громче всех крикнул: «Сергей», а его отец при этом пробасил: «Игорь». И наконец дошло, что каждый исповедующийся должен назвать свое имя. В третий раз я присутствовала на исповеди. Дети наизусть читают молитвы, которые я до сих пор толком не расслышала. Здесь есть девочка лет двух, похожая на Машу из детской сказки. Она бегает по храму в голубом платочке, который удивительно идет маленькому личику, приседает на корточки и плохо выговаривает слова – эта «манная каша» понятна лишь родителям. Иногда отец взваливает ее на плечо, и та засыпает. Отец слишком громоздок для ее тщедушного тельца, и вместе они напоминают памятник в Трептов-парке². Однажды сидя так на плече, кроха встрепенулась и отчетливо пропела вместе со всеми:

– Недостойных помилуй нас.

Всякий раз я люблюсь на нее до слез. А она подбегает к взрослым и смотрит на них хитрыми глазами.

Была ли она сегодня – не знаю. Почти все утро я помогала на кухне печь блины и на утреннюю службу заглянула

² Парк в восточной части Берлина на берегу Шпрее. Известен главным образом гигантским мемориалом в память о воинах Красной армии, павших в боях за Берлин. «Воин-освободитель» – монумент в берлинском Трептов-парке. Является символом победы советского народа в Великой Отечественной и Второй мировой войне и освобождения народов Европы от нацизма. В центре композиции – бронзовая фигура советского солдата, стоящего на обломках свастики. В одной руке солдат держит опущенный меч, а другой поддерживает спасенную им немецкую девочку. – *Примеч. ред.*

лишь на полчаса. Впрочем, вспомнила про девочку только вечером, когда происходило самое важное.

– Что говорить-то надо матушке? – спросила Лена-трапезница у Новеллы, сидящей перед нами.

Новелла полистала книгу, которую держала в руках, и произнесла с выражением:

– Ты ей говоришь: «Матушка и все святые отцы! Простите мне, недостойному, все прегрешения, вольные и невольные, даруйте отпущение грехов и души очищение...»

Дальше прозвучала такая длинная и сложная фраза, что я испугалась:

– Дословно? Мне надо на бумажку записать!

– Ну да, – серьезно кивнула Новелла, – а матушка тебе на это ответит... – и процитировала фразу еще более длинную. Если бы не финальный пассаж про славянский шкаф, я бы поверила. В религиозном юморе я тоже пока не сильна.

Но говорить надо было простое и привычное «прости» – «Бог простит» и троекратно обниматься. Что-то тут было от игры «ручеек», когда матушка шла к архимандриту, кланялась оземь, целовала крест, а потом вставала рядом с ним, и следующий человек шел к архимандриту, потом к матушке, и тоже вставал рядом, так один ряд постепенно – по чину – проходил мимо появляющегося другого, и это было прекрасно и весело. Кто-то перед каждым вставал на колени, кто-то просто отвешивал поясной поклон. А когда я встала возле дверей, ища в толпе знакомые, но непрощенные лица,

передо мной на колени бухнулись те двое, отец и сын, благодаря которым я поняла, что происходит на исповеди. И я тоже встала перед ними на колени, и тоже им поклонилась и попросила прощения, ибо что остается делать, когда двое незнакомых мужчин падают перед тобой на колени? И тогда я вспомнила про ту девочку в платочке и поняла, что перед ней я первой бы встала на колени, ибо что же делать, если ты перед кем-то настолько сильно не виноват, что любишь-ся на него до слез?



Вечером мыла посуду после ужина и думала о Великом посте как о счастье трапезницы: ни жирных тарелок, ни селедочниц, и посуды меньше, и мыть ее реже. Трапезницей я трудилась весь предыдущий месяц, и освободить меня от этого послушания никто не собирался. Говорят, все сест-

ры в нашем монастыре поначалу бегали по кухне с тарелками. Послушание утомительное, но тем вернее спасешься. Да, некоторые спасают душу мытьем посуды.

В родной келье на последнем третьем этаже все осталось нетронутым: без меня никто сюда не входил и паломниц не селил. Меня ждали, и это было приятно.

Уже помолившись и сидя на кровати, долго смотрела в экран телефона, не желая выпустить его из руки и не решаясь написать.

Экран погас и тут же вспыхнул:

«Ты уже в обители?» – спросил он.

Я тихо засмеялась и, не отвечая, легла спать.

День первый



– Во сколько завтра служба начинается? – спросила меня
насельница Наташа поздним воскресным вечером.

Я пожала плечами, и тогда она обратилась к соседке слева – мать Феоклите, нашему келарю – похожей на специальную круглую деревенскую бабушку в очках, переднике и с ласковыми шаркающими интонациями рекламы «Домика в деревне». Походка у нее тоже ласковая и шаркающая. Однажды осознав, что отказать я ни в чем не могу (не затем же я приехала, чтобы лентяйничать), мать Феоклита волевым решением взяла меня в помощники и использует при всяком удобном случае. Разгадав ее хитрость, я научилась удирать до того, как мы встретимся глазами и она попросит о ерунде, отнимающей время от вечерней службы или законного дневного отдыха. Если не считать этого, у нас с ней душевные отношения, и она всегда пытается меня подкормить или напоить чаем.

Так вот, Наташа обратилась к мать Феоклите... Я не знаю, склоняется ли слово «мать» в данном сочетании в литературной речи, но в разговорной мы его не склоняем.

– В семь, – ответила Феоклита, – а заканчивается в час. Или раньше – смотря как читать будут.

– В час ночи? – уточнила я, всерьез готовясь к духовному подвигу.

– Дня! – фыркнула Наташа.

Перед службой я стандартно успеваю почистить зубы, погладить котенка Сервелата, что коротает век в туалете на нашем этаже – тут кошачья зона карантина, – и пробежать стометровку до входа в храм. Иногда успеваю прийти до начала

службы и приложиться ко всем иконам. Мне сразу понравилось это зимнее вставание затемно, как в детстве: нырнуть из теплого корпуса в мороз и чувствовать, как захватывает дух от ощущения света в темноте, храма в глуши, радостного просонья на душе. А сейчас светло и прилетели грачи и начали оглушительно картавую возню на деревьях.

– Они до июня тут будут, до чудотворной, – объяснила Феоклита, в первое же утро сцапавшая меня печь блины. – Скоро привыкнешь, замечать их не будешь.

В храме грачей почти не слышно, особенно в монашеской части – где алтарь и самая главная чудотворная икона Божией Матери. А во второй части храма – это называется придел – надтреснутое птичье грохотанье прорывается сквозь стены ли, сквозь окна...

Пока не было земных поклонов, я могла сидеть вместе с монахинями в маленьком уголке напротив чудотворной, под иконой Кирилла и Мефодия. А где бы еще отыскался уголок оскорбленному сердцу литератора? Но прямо перед иконой стоит большой подсвечник, и земные поклоны грозили обернуться трагедией. Пришлось уйти в заднюю часть храма, где есть лавки для прихожан – пять часов службы на ногах я бы не осилила. Я и земные-то поклоны – десять подходов по три раза, или как это говорится среди атлетов – с трудом выдержала. Сначала припадала на одно колено, опускала второе, кланялась и вставала в обратном порядке, но это было долго и вызывало старушечье кряканье. Потом заметила, что на-

сельница Наташа впереди меня быстро складывается горбиком, ныряя к полу, и так же ловко встает, опираясь на руки. Опытным путем отбитых коленей стало ясно, что падать все же лучше на ладони, максимально близко поставленные к коленям, но и тут не без проблем: при вставании под пятки неминуемо попадает подол юбки, и что делать с этим – неясно. Рано или поздно навернусь с шумом или юбку порву.

– Смотри, лампадки постные! – шепнула мне Наташа.

Я пригляделась: вместо привычных расписных нарядных лампад стояли простые цветные. Архимандрит был тоже постовой: в темно-фиолетовом одеянии с золотистыми крестами.

Служба была долгой. Очень долгой. Время от времени меня опрокидывало в сон, и если бы не силовые нагрузки в виде поклонов, я уснула бы сидя или стоя. Но к счастью моему, сегодня не было привычных послушаний, и уснула я благопристойно после обеда, игнорируя чудную погоду и договоренность с Леной-трапезницей прогуляться до реки, где всю идет ледоход. Может быть, завтра сходим.

На утренней службе практически не было прихожан, а на вечерней еле-еле всем хватало места для поклонов. Архимандрит был уже весь в черном, электрический свет не горел, и темнота в храме сгущалась вместе с темнотой за окнами. И волшебное пение доносилось с клироса, и волновались огоньки лампад и свеч в темноте, и хотелось мира всем и добра. И чтобы юбка была шерстяной, а то от шелковой

коленкам на плиточном полу ледяно и твердо. И молиться: о всех кораблях, ушедших в море, о всех забывших радость свою. И никогда не умирать.

А на ужин, как и на обед, были куски вареной свеклы, печеная картошка и соленые огурцы.

– Трудные будут дни, – вздохнул кто-то, глядя на это богатство.

А мне нравится: если мелко порубить, то почти винегрет.

День второй



Странно я проснулась – с ощущением того, как устала спать сон. То ли разбитость это была, то ли недосоединенность. Переходное состояние, обдумывание которого заняло минут десять, и к началу службы я опоздала. Обидно это тем, что когда опаздываю, то к иконам возле алтаря не прикладываюсь. Стесняюсь при всех, тем паче что толком не знаю, когда можно шевелиться, а когда надо застыть с руками по швам. Так и стою до конца службы непрiloженная и тем огорчаюсь.

Мне, конечно, рассказали, когда следует застывать на месте, но из всего перечисленного я опознала только «Отче наш» и во время его чтения старательно застываю. Разве что после бочком подкрадусь к Казанской и Николаю Чудотворцу, что висят возле выхода, ну и тем хорошо.

Сегодня я была трапезницей, и пришлось уходить задолго до конца службы, чтобы кипятить чайники, резать хлеб и производить иные нехитрые постные манипуляции. В обычное время обязанностей куда больше: надо расставить приборы на сорок человек, принести фрукты на обед из холодильной камеры, разложить сладости, заварить чай, выставить еду, которую раскладывает по тарелкам кухарка, после трапезы собрать посуду, вымыть ее и расставить по местам, протереть столы – словом, беготни хватает. В конце вечера: нарезать салфетки, досыпать кофе-соль-перец-сухарики на каждом столе, помыть пол, поправить лампаду. Последняя трапеза неуставная, и посуду за всеми моет кто-то не имеющий регулярного послушания. Посуда моется старым деревенским способом, которому я обучена с детства, а потому отношусь к процессу с симпатией: одна емкость с водой для мытья на первый раз, другая для ополаскивания. Сначала кружки, потом тарелки, затем самое жирное. Этот конвейер заставляет мое сердце трепетать – я делаю мир чище. Мытье полов почему-то такого не вызывает, но именно оно остается при любом раскладе: в обычный день и в постный. А посуду в эти четыре дня каждый моет за собой сам, чем,

безусловно, облегчает жизнь трапезнице.

Из храма меня кивком головы вытащила Новелла. К тому времени я чуть было не уснула; поняла, что юбку перед земными поклонами надо зажимать между коленями, – тогда при вставании не наступишь пяткой на подол, – а после пришла в странное состояние, когда, несмотря на усталость от многочасовой службы, не хочется уходить из храма.

На улице было солнечно и тепло. Я глупо улыбалась и на распоряжения Новеллы реагировала раза с третьего. Меня оглушило внезапной и неясно откуда пришедшей радостью. Особенно долго не могла сообразить, на какой тарелке запекать яблоки для архимандритского набора – когда он служит, мы носим ему завтраки и ужины: вареные картошку, свеклу и морковку, а еще яблоко и луковицу. Я медленно тыкалась то в один шкаф, то в другой и сияла улыбкой, пока Новелла сама не вручила мне искомую тарелку.

– Прости, – сказала я, – мне так хорошо и бессмысленно...

– Бывает, – хохотнула Новелла.

И невозможно описать, что это было: я плавала в воздухе, как рыба в воде, и ни на что не реагировала, в особенности на людей. Пробегись по мне мышь, я бы, наверное, умилилась разнообразию бытия.

В три часа пошла к реке. Разбитая дорога кое-где была приморожена, а кое-где разморилась грязью, и тогда я шла по краю поля. В поле крупно росли кочки, покрытые желтой соломой, а проплешины между ними залил лед. Рекой пахло

издалека, и оттаявшей корой, и еще чем-то, от чего мерзли щеки, горели уши и хотелось поэзии. Я стала думать про того человека, про которого думать не следовало, спорила с ним о Георгии Иванове, а затем обо всем на свете.

«Представь себе, – говорила я ему. – Вот это поле было всегда. Оно лежит тут день за днем и не ведает, что будет однажды перекопано и заселено деревьями или домами. Поле – оно **еще** вечное. А Иванов умирал в своем доме престарелых и знать не знал, что будет так любим интеллигенцией, которую презирал до конца. Иванов не сразу, а много лет спустя после смерти вдруг нашелся и стал велик. Значит, он **уже** вечный. А Бог всегда вечен, потому что могут кончиться и не начаться поле и Иванов, а Бог был и будет». И все мы можем кончиться или не начаться, а Бог будет. Потому что иначе теряют всякий смысл и мы, и поле, и Иванов. Собеседник усмехался и мне не верил.

В храм я пришла задолго до начала службы, чтобы хоть раз за день приложиться к иконам. Внутри было пусто, и я долго стояла на ступеньке, глядя в карие глаза Чудотворной, а когда прикладывалась к шкатулке с мощами апостолов, вдруг ощутила, что не могу дышать. Я не задыхалась, просто внутри уже было что-то большое и легкое, чему даже воздух не нужен – это «что-то» тоже было воздухом, но иного состава. И во время службы поняла каждой клеткой, что в теле не болит ровным счетом ничего из того, что болело на-

кануне, а поднимаясь вверх после земного поклона, можно случайно оттолкнуться от пола и взлететь под купол. Только неудобно при матушке, поэтому надо прочнее держаться за землю. И столько в этом удивительной правды, что не было ни страшно, ни странно. Наверное, именно это и есть благодать – застывшее ощущение легкости и покорности судьбе. Как у поля, что будет перекопано, как у неизвестных стихов Иванова, что будут читаться наизусть.

День третий



Среди ночи проснулись мухи и принялись жить назло спящим. Нет, тут вообще их много, и даже зимой каждый день приходилось избавлять их от земного бытия посредством тапок или снимая сетку с окна и вытряхивая на мороз, однако это случалось днем – они лезли на свет. Но чтобы ночью!

В общем, я мало спала и потому первые два часа утрен-

ней службы продрыхла внаглуую. В половину седьмого отключила будильник и решила, что встану, когда мать Николая начнет бить в колокол. Звона колокола я не услышала, зато час спустя меня разбудило нежное звучание колокольчика, которым мать Стефанида созывает к еде кошек на крыльцо игуменского корпуса. Потом все стихло. Я глянула на часы и подумала «Ой!». В корпусе было пусто, от храма не доносилось ни звука, и я испугалась, что сегодня служба идет по-другому, что она закончилась, и все давно разошлись по послушаниям, а я одна такая кулема сейчас получу выволочку. Поэтому к храму пробиралась перебежками – на всякий случай. Возле дверей в неотсонившемся организме снова дрогнуло нечто прекрасное, но потом исчезло. Если кто-то и заметил мое отсутствие, то виду не показал, а трехчасовая служба прошла быстрее и бодрее пятичасовой, поэтому совесть вскоре перестала меня терзать. Вообще после вчерашнего парения утреннее земное состояние показалось обидным. И сколько я ни прикладывалась к иконам и мощам – сегодня мое послушание было в храме, – восторг не появлялся. Зато появился уставной полноценный обед с супчиком и медом – оглядев столы, матушка сообщила:

– А жизнь-то налаживается!

С супом жизнь, действительно, наладилась, и в честь этого мать Стефанида решила одолжить мне свою Псалтирь на церковнославянском, чтобы я понемногу втягивалась в культуру богослужений.

– В институте учили церковнославянский?

– Учить-то учили, только все эти псалмы, каноны и ка-
физмы читаются вразнобой. Как я пойму, на какой странице
и что именно сейчас читают?

– О, это легко выяснить, – сказала мать Стефанида.

– Да-а? – недоверчиво протянула я. – Каким путем?

Мать Стефанида задумалась, а потом уверенно ответила:

– В основном опытным.

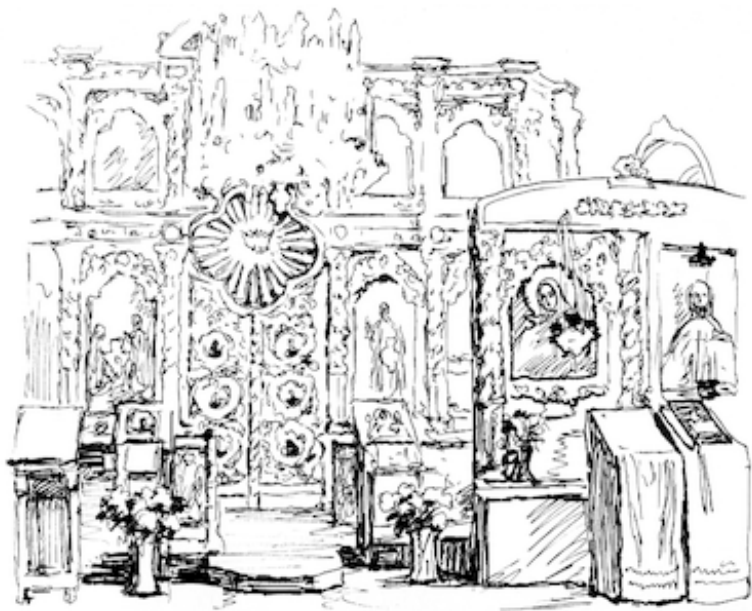
Кроме Псалтири она вынесла мне Евангелие, тоже на цер-
ковнославянском.

– Возьмешь?

Я посмотрела на одну книгу, потом на другую и в самый
последний момент удержала во рту вопрос: «А в чем разли-
ца?»

Позже, в процессе ознакомления, выяснилась и разница,
и глубина моего религиозного невежества. Наконец-то – на
базе собственной глупости – начала запоминать элементар-
ные вещи. Все это время, кстати, читала Новый Завет, живу-
щий в моей келье, уже трех евангелистов прочитала и закон-
спектировала. Ну а что? Там на обложке написано «Новый
Завет» – я и не рассуждаю. Откуда неучу знать, из чего он со-
стоит? Поэтому Евангелие от Иоанна отныне читаю на цер-
ковнославянском, осознавая, что высшее литературное об-
разование все-таки не прошло даром. Потихоньку, скрипя
болтами и шарнирами, стали включаться мозги. Вкл-выкл.

День четвертый



Снег почти сошел, и наша глушь покрыта желтым песком: мокрым – на уличной земле и храмовых половиках, сухим – на асфальте и плитке. Деться от него некуда: он срывается с ног деревенских прихожан, а потому мы ежедневно чистим ковры и моем полы в храме. Иногда, правда, кто-то из прихожан, устав тереть ладони, берет веник и очищает себе место для земных поклонов, но это частность, а через пять минут

песок приползает снова. Еще наша глушь покрыта мрачным небом, которого так много, что хочется заплакать от бессилия. Будто этого желтого песка насыпали прямо в середку, в межгрудье, и никак не вытрясти его оттуда. И нагревается он так, что от него горит тело целиком. Да, температура, насморк, головокружение.

Когда мне за обедом дали послушание привести в порядок мой третий этаж, где больше никто не живет, я ушла в туалет и минут десять там редела. Потом послушание сменили на уборку в храме, я пошла переодеться и долго рыдала в келье. Нипочему. Будто ощутив все обиды за жизнь разом, начиная с ранних лет и кончая вчерашним днем.

Вероятно, это откат после праздничного вторника, а душа моя ныне – место боя света и тьмы. Как тело – место борьбы здоровья и немощи, силы и слабости. Это я так себя утешаю.

Немного пришла в себя, пока мыла полы в храме: голубая и желтая плитка с бордовыми ромбами, а в центре бело-голубая кафельная дорожка. Я вообще к дореволюционной плитке – с нежностью. Встречаются еще неширокие бордовые дорожки, такая, например, опоясывает место могилы генеральши Поздняковой: на ее деньги в конце XVIII века был построен храм. Могилы этой не видно, на ней стоит важная церковная штука, названия которой я не знаю, и даже чугунная памятная табличка на стене загорожена иконой Иоанна Предтечи. Это не от злого умысла, а по причине экономии места: храм невелик, а ценностей в нем хватает.

– Таня, ты мой полы там, – мать Анфиса машет рукой в сторону алтаря, – а ты, Даша, здесь.

– На солее тоже мыть? – спрашивает вновь прибывшая Таня.

«Ух ты! Солея...» – думаю я и иду за водой и тряпкой.

Через полчаса не выдерживаю:

– Мать Анфиса, а что такое солея?

– Ну вот эта – поперек амвона, – с удивлением объясняет мать Анфиса.

– А-а-а... – говорю я. – А амвон – это?..

– Ну, вот где поп стоит – это амвон. А где клирос поет, где мы с тобой дорожки поправляли – это солея.

– А все вместе – алтарь? – облегченно спрашиваю я.

Мать Анфиса – сухая маленькая старуха – смотрит на меня с жалостью. Она вспыльчивая, как многие аллергики, но добрая, потому я рискую спрашивать.

– Алтарь – это та часть, которую не видно, куда царские врата открываются. За солеей и амвоном. Куда женщин не пускают!

– А-а-а...

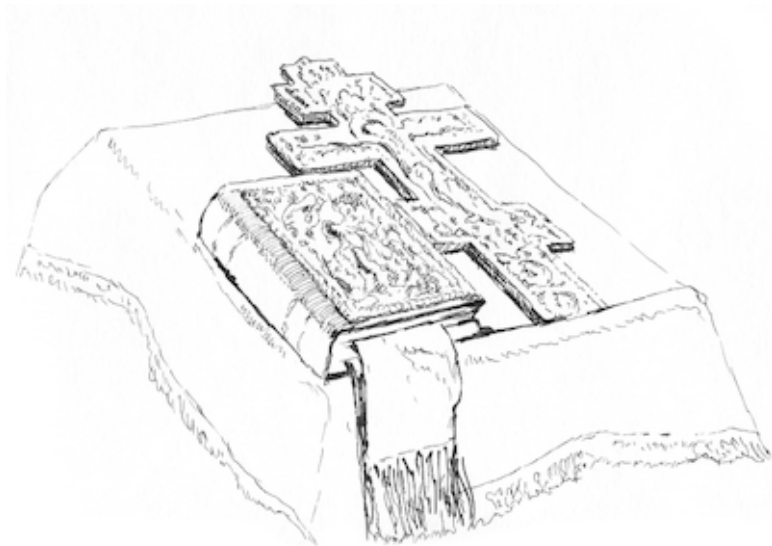
Предчувствуя слезы-сопли, на вечернюю службу взяла бумажных салфеток. Не зря: пока пел хор, терла нос, еле сдерживалась, чтобы не зарыдать в голос. Особенно на режущей темноту фразе «конец приближается». Так стало жалко всех на нашем несчастном свете, которому приближается конец.

Матушка вышла с клироса, подошла к насельницам, и они

тут же потянулись к ней за благословением – одна вслед за другой.

– Ну, понеслась! – проворчала она, крестя их золотым распятием, так добродушно, что я тоже потянулась, а потом разулыбалась. Впервые за день разулыбалась. Впрочем, после снова разревелась. Но уже не так отчаянно. Потому что есть в благословении от церковного лица нечто столь истинное и нужное, от чего вздрагивает нутро, как будто его быстро и ярко осветили. Гроза в начале марта. Вольфрамовая искра над моим золотым песком. И можно еще побарахтаться.

День пятый



– Это у меня в глазах потемнело или на улице? – Новелла сильно жмурила глаза.

Я посмотрела в окно – над полем и дальней ниткой леса и по бокам, где дома и близкие деревья, сгущалась чернота. От пристальных взглядов она дрогнула и посыпалась на землю белым снегом – мелким и напористым. Одновременно весь дом загудел от сквозняка. Через минуту не стало видно ничего.

– Все было мрак и вихорь, – сообщила я, глядя в окно. –

Ну, барин, беда – буран!

– Опять «Гардемарины»? – с подозрением спросила Новелла.

Я недавно цитировала ей этот фильм.

– «Капитанская дочка», глава про «заячий тулупчик». Когда Петруша Гринев повстречал на жизненном пути... – я наткнулась на ироничный взгляд Новеллы и несмело закончила: – ...кучу неинтересных событий.

Та покачала головой:

– Замуж тебя надо. Срочно!

Снег шел весь день – то утихая, то заметая снова. Он сыпал солью, и валил крупными хлопьями, и крутился маленькими вихрями. Иногда в плешь между тучами выглядывало солнце. За недолгую побывку оно успевало нагреть крышу так, что по ней с жестяным грохотом скользили сугробы и, коснувшись земли, разбивались в лепешку. Промокшие мужики, устав махать лопатами, отогревались в кухне чаем, и Новелла грозила расправой за натопанную грязь. В шутку грозила, а не как накануне, когда у всех были нелады с психикой и все со всеми ругались.

– Тебя кто до слез вчера довел? – спросила она меня. И было почти неудивительно, что весь замкнутый монастырский мирок в курсе моих переживаний.

Я пожалала плечами:

– Жизнь.

И Новелла ответила:

– Во. Точно замуж!

Обед был постный, но полноценный: с супом и сладким.

– Наконец-то закончились пищевые страдания, – улыбнулась мне мать Стефанида.

– У нее я кухарка, – сообщила ей Новелла. – Ее страдания только начинаются.

Я вспомнила про горы посуды, которые мне опять придется мыть раз в три дня, и немножко погрустила о сухоядении. Хорошее все-таки это было время. Lentяйное.

Снег перестал лишь за полчаса до вечерней службы, после которой была исповедь. Как всегда неожиданно для меня. Впрочем, мало кто был готов, судя по листикам, ручкам и задумчивым выражениям лиц во время службы. Новелла сунула мне брошюру-шпаргалку с подробным толкованием содержимого семи смертных грехов, и я с удивлением обнаружила там «страх старости» – то ли в «гневе», то ли в «гордыне». Воспитанной на массовой культуре вечной молодости, мне как-то и в голову не приходило, что это может быть грехом. Но с другой стороны, я и не старости боюсь, а того, что до ее наступления категорически ничего не успеваю сделать: ни дома, ни сына, ни дерева. А жизни с каждым днем меньше – и оттого страшнее.

Как действующие кухарка и трапезница, мы с Новеллой должны были идти в числе первых – сразу за коровницами (животным и желудкам, как известно, чины безразличны), но перед службой забыли испросить благословения у матуш-

ки, а после – она не поняла, чего мы от нее хотим, и поначалу велела ждать очереди, а потом едва не силком погнала к архимандриту, и эти кутерьма и суета слопали весь нежный исповедальный настрой. Оттарабанив грехи, я убежала кипятить чайники и резать хлеб.

Хлеб сейчас свежайший, ежедневный, его не получается нарезать тонко – он прогибается под ножом и разламывается некрасивыми с зазубринами ломтями. Такой хлеб можно даже не есть, а нюхать до сытости. По края заполнив хлебницу ржаным и батоном, я наклоняюсь над ней и втягиваю запах.

– Хлеб был в детстве вот такой, – нескладно говорит за ужином своему соседу разнорабочий Шурик. Он длинный, сильно пьющий и похож на орангутанга. – Корочку отрежешь, чесноком потрешь, соли еще. Лучше пряника! – И с грустной мечтой в голосе добавляет: – Да непременно книжку читать! Про приключения. Никуда без книжки!

Я удивленно оборачиваюсь к соседнему столу и вижу, как в лице орангутанга проступает белобровый мальчик.

А к ночи ветер затаился, и на небе не осталось ни облака, только звезды, только синий воздух, синий, вечный, ледяной, сине-грозный, сине-звездный над тобой да надо мной.

– Им спокойно вместе, им блаженно рядом. Тише-тише, не дыши. Это только звезды над пустынным садом, только синий свет твоей души, – продекламировала я, протирая столы после ужина.

– Опять Пушкин? – спросила Новелла.

– Почти, – ответила я.

День шестой



Спать легла с температурой, кашлем и резко накотившим осознанием того, что забыла отнести ужин архимандриту.

«Кары небесные... – с тоской подумалось сквозь дрему. – Не носить тебе головы, Дашенька!»

С утра примчалась на кухню с надеждой в сердце. Ну а вдруг под температурой своей отнесла архимандриту ужин, а сама про это забыла? Оказалось, не забыла: и впрямь не отнесла, но кар на меня не обрушилось, и голову я снесла, хоть и смотрели на меня с жалостью.

Кашель разгулялся так, что в храме я порой заглушала хор. Вообще если бы не причастие, не встала бы нипочем, слишком качался и скрипел подо мною мир.

После завтрака и похода в амбулаторию я попросила у благочинной какое-нибудь сидячее послушание не на сквозняке и была отправлена в постель. По мне – так сложно придумать послушание лучше.

О, какой это был чудесный вечер! С таблетками, пастилками и каплями. Мне официально разрешили ничего не делать и выздоравливать. Моя социопатия сказала «мур!» и залегла под одеялко. Иногда она осторожно, чтобы ни на кого не наткнуться, спускалась на первый этаж за кипятком, а в остальном пребывала в неге и лени – составляющей одного из смертных грехов, если верить вчерашней исповедальной шпаргалке-брошюре.

Кстати, про «мур». Котенка Сервелата из карантинного туалета увезли на московскую выставку, откуда мгновенно забрали домой. Он ласкуша и способен выжить в самых невероятных условиях: в монастырь пришел по моему следу из чистого поля, где его бросили замерзать. Еще он обаятельный и с белой подвязкой на бедре – такого я ни разу не видела. Приспособленец, да. Очень славный котик.

Хорошо, что имя оставили то, которое я придумала, – Сервелат. В честь Серебряного века и немножко – колбасы.

День седьмой



В храм я сегодня не попала: завтра снова трапезничать – в моих же интересах прийти в себя, и на улицу я решила не высовываться. Сижу укутанная, пью горячее. Но после обеда в порядке самодисциплины отправилась гладить белье. Заодно и ингаляция, когда отпариваешь.

– Если совсем плохо, лучше отлежись, но если не трудно... – сказала благочинная мать Елена, глядя на меня глубокими дореволюционными глазами и будто склоняясь ко мне, хотя мы одного роста. Вчера у нее был день рождения, и по-

сле обеда матушка говорила речь о том, как нам повезло с благочинной, как держится на ней монастырь, как Бог едва не забрал ее, «но отмолили». После этой фразы мое простуженное хлюпанье носом перестало быть таким вызывающим, ибо расхлюпались все.

– Я желаю тебе, – сказала матушка, еле держась от слез, – чтобы в твоей жизни был только Бог. Даже не так. Чтобы, кроме Бога, ничего в твоей жизни не было.

И мне вспомнился племянник мать Елены – мальчик лет семи, который с родителями приезжал к ней в гости. Родителей я не видела, а племянник деловито прошелся по кухне, рассказал о любви к манной каше, взял предложенный фрукт и сообщил, что съест его после обеда. Мальчик был худой, носил солидные профессорские очки, мать Елена глядела на него с родительской любовью. Потеснит ли Бог этого серьезного мальчика с манной кашей и в очках? О том ли говорила матушка?

А с благочинной нам и впрямь повезло: с ее деликатностью и заботой. Порой кажется, что я не раз видела ее портрет то ли в Эрмитаже, то ли в Третьяковке: такие тонкие черты и круглые всепонимающие глаза – результат жизни не одного поколения. Мне видятся светлые выющиеся завитки над высоким лбом и ямочки на щеках, которых нет, но должны быть у мать Елены.

За обедом, если отсутствует матушка, именно благочинная звонит в колокольчик, означающий начало и конец тра-

пезы и перемену блюд. Перемену в том смысле, что после общей молитвы и первого колокольчика можно наливать суп, после второго класть в тарелку рыбу, гарнир и салат, после третьего заваривать чай или кофе.

Во второй день пребывания в монастыре, начисто забыв и про звонки, и про молитву, я пришла в трапезную, налила суп и спокойно стала есть.

– Даша, ты куда-то торопишься? – понимающе спросила мать Елена, увидев это безобразие.

– Вроде нет, – ответила я, зачерпывая суп.

– Ты бы подождала – молитвы еще не было, матушка не пришла...

Ложка застыла на полпути. Стало нестерпимо стыдно. Вообще в монастыре стыд за промахи острее, может быть, потому, что никто тебе их в вину не поставит. Даже голодного архимандрита без нужды не вспомнят.

Во время трапезы кто-нибудь монотонным голосом читает душеспасительные книги: воспоминания о старцах, монашеские нравоучения, в день памяти святого – его жизнеописание. Еще один звонок, и все встают. Хор монахинь поет молитву в начале и конце трапезы, мать Елена тоже в певчих. Когда они поют, вокруг наступает такая красота, среди которой можно взлететь. Потому я, как и бело-рыжий кот Моня, который все на свете понимает, всегда хожу на ежевечерний крестный ход. Впереди с иконой и крестом идут мать Елена и мать Кассиана (а может, это другая монахиня – я их путаю,

хотя говорят, что они вовсе не похожи), потом мать Николая и мать Юлия. Это основной состав. Я иду за ними и тихонько подвываю мелодии – полностью слова никак не запомню, а просить распечатку молитв неловко. Но кое-что все же откладывается в голове, и когда я обнаруживаю себя поющей «зриши мою беду, зриши мою скорбь» – то прихожу в восторг от самого содержимого слов. Будто архаичный слой стал прозрачен, как желе в холодце, а под ним завиднелось мясо. Которого, кстати, в монастыре не едят вовсе.



Итак, сегодня я гладила. Почему-то много накопилось постельного белья, его было не принято гладить в нашей семье, так по привычке я и дожила до своих тридцати лет с неглаженными пододеяльниками. Но есть в простой женской работе на общую пользу что-то обаятельное и важное. И ко-

гда глубокие морщины на ткани мелели под тяжестью уютга и вдруг вовсе исчезали в потоке пара, душа моя замирала от радости. Нечто подобное я испытала, впервые приготовив съедобный плов. Потом гладила рясы и подрясники – плотные, длиннополые, с пуговками на рукавах – на одном из них увидела метку «Люда» сзади под воротом, где обычно петелька пришита. Не знаю, кто такая Люда, не в ней дело. На днях по возвращении с крестного хода мать Юлия говорила кому-то хохоча: «Когда уже она умерла? А до сих пор нет-нет, а на ее подрясник наткнешься». Она смеялась, потому что смерти нет. Потому что на самом деле это жизнь. Вечная. Без дураков.

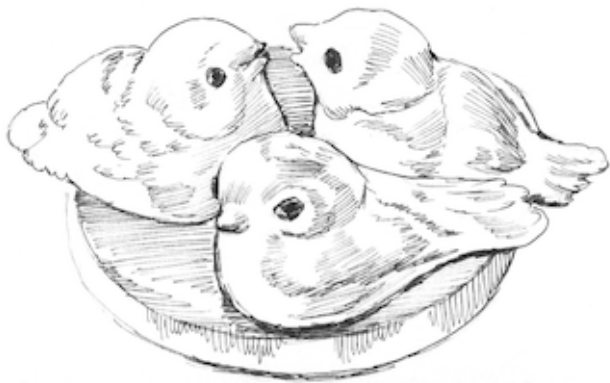
Мать Юлия говорит, слегка пришепечывая, как человек, что может позволить себе не загораживать красивых белоснежных зубов губами, ведь губами можно постоянно смеяться. Смеяться она умудряется даже во время пения с клироса: она поет неудобным низким голосом и, сбиваясь, смеется над собой. Звук меняется, и я слышу ее улыбку, стоя под аркой, разделяющей приделы.

Говорят, мать Юлия пришла в монастырь едва не сразу после школы, кажется, она моложе меня, хотя достоверно тут ни о ком ничего нельзя сказать, но порой мне хочется подарить ей куклу – такая она девочка. Именно она сочинила эпохальное:

«Любовь не тонет, любовь не горит! —
Сказал мне как-то архимандрит».

В монастыре все – дети. Сколько бы ни исполнилось лет, всегда кто-то старший и мудрый возьмет ответственность за твою жизнь перед тем, кто старше и мудрее его самого. Отмолит и благословит. Измерит температуру, накормит и защитит. Попросит помыть посуду или почистить овощи. Вещи погладить. А с тебя всего и надо: жить припеваючи и слушаться старших. Как в детстве.

Жаворонки. День восьмой



Вчера за ужином ко мне подошла мать Елена и, глядя вечными глазами, спросила:

– Даша, как себя чувствуешь? Может, еще день отлежишься? Таня тебя на кухне подменит, она согласна. А тебе найдем попроще работу. Кровать надо будет почистить, жаворонков налепить.

Я долго отнекивалась, мол, уже здорова и справлюсь, но устоять перед подобным предложением было выше человеческих сил.

Мать Елена оказалась права: проснулась я горячей и безголосой, и потому перед завтраком каждый счел своим долгом осведомиться у меня о самочувствии – уж больно смешно я пускала петуха.

Подменившая меня паломница Таня с непривычки была не слишком расторопна, чем сердила Новеллу и заставляла ее неодобрительно коситься на меня. Трапезница Лена громко сообщала в мою сторону о своей температуре и кашле, подразумевая, что я ее заразила. В общем, утро не заладилось.

Также выяснилось, что чистить креветки под пиво – это одно, а в промышленных масштабах под лечебный картофельный отвар – совершенно другое. Пока я, укутанная в три кофты, терзала морских гадов, Павла резала овощи на завтрашний салат, а Таня убирала со столов.

– Фотиния, – обратилась она к Павле, задав какой-то пустячный вопрос.

Та ответила и лишь потом удивилась:

– Ты меня Фотинией назвала?

– Ой, – смутилась Таня. – Прости! Ангелина!

– Так я и не Ангелина. Я Павла, – спокойно пояснила кухарка.

Мне всегда неловко за других в такие моменты, поскольку я и сама способна перепутать все на свете. Но Таня ездит в монастырь не первый год, и это странно.

– Для меня ты все еще Ангелина, – отвечает она. – Никак

не привыкну к Павле.

– Мама тоже не привыкнет, – смеется Павла. – Год уже, а все равно меня Алей зовет. А отчим ей говорит: «Да зови ее Пашкой и не парься!»

– А почему это имя, а не другое? – скриплю я.

– Матушка так решила, – пожимает плечами Павла. – Раньше вообще смешно было: пока не привыкли, все в меня плевались. Подойдут, назовут Ангелиной, я им говорю, мол, Ангелина умерла, а они мне: «ТЬфу ты! Павла!»

– Кружек не хватает, – сообщает Таня. Она уже сервирует к обеду.

Я спешу наверх. За время болезни перетаскала в келью чашек пять, и пора их постепенно возвращать на кухню.

Наверху меня останавливает насельница Наташа. Она пришла сюда гладить.

– Слушай, а где серый котик? В туалете его нет.

– Он теперь москвич, – отвечаю я. – Его с выставки в семью забрали.

И устремляюсь в свою келью. По выходе из нее Наташа вновь меня останавливает.

– А люди, что его забрали, – воцерковленные?

Вопрос поражает неожиданностью.

– Понятия не имею.

У Наташи загораются глаза.

– Так они же могут через него к Богу прийти!

– Через кота?

– Да! – убежденно кивает Наташа. – Ведь все не зря! Они хорошие люди, раз взяли бездомного кота. Он их непременно в церковь приведет. А кто его самого в монастырь привел? Ты! Получается, что ты уже несколько душ спасла!

Я улыбаюсь ее наивным рассуждениям и бегу дальше.

Жаворонками заведует мать Феоклита.

– А почему жаворонки? – спрашиваю я.

И Феоклита рассказывает мне историю про сорок мучеников, которых морозили в озере, о том, как один не выдержал пытки и был наказан Богом и как, увидев это, мучивший их охранник закричал, что он тоже христианин, и сиганул в озеро.

– М-м-м, круто, – сказала я. – А жаворонки почему?

– Да кто ж его знает, – Феоклита развела руками, – традиция такая.

«Вот все и прояснилось!» – думаю я.

На лепку приходят мать Елена, мать Мария и еще одна послушница, чье имя мне неизвестно, но я очень похожа на ее внучку.

– У меня, как в прошлом году, крокодилы получатся.

– Или слоны.

– Главное, чтобы не удавы.

– Всех удавов – мне! – кричит Новелла.

Она пришла в келарскую из кухни и внимательно разглядывает первые образцы жаворонков.

– А глаза чем делать будем?

– Пищевым фломастером нарисуем.

Новелла одобрительно качает головой и заявляет:

– Рисунки им надо на крыльях сделать.

Хриплю зэчьим голосом:

– Купола!

Я разливаю мед из ведра в маленькие банки. Так протяжно и долго, что молвить хозяйка успела...

– Даша, слепи жаворонка, – предлагает мать Елена.

Я отставляю мед, беру лепешку, мну ее и вытягиваю.

– Смотри, чтобы куропатка не получилась!

– Или грач!

– Или страус!

Я растягиваю тесто и сообщаю:

– Я буду лепить сову. Назову ее Сироткой.

Меньше всего создание в моих руках похоже на птицу. У меня забирают испорченный кусок теста и вручают новый.

– А как же сова Сиротка? – огорчаюсь я.

– Теперь у нее много родителей, – утешает мать Елена.

Жаворонки вышли пышными и румяными, похожими на палехскую игрушку. Завтра будем есть.

День девятый



Я съела трех печеных жаворонков. Сначала было жалко.

– Ешь постепенно, – посоветовала трапезница Лена. –

Сначала оторви хвост. Потом сверни ему шею и откуси голову. А когда он будет совсем мертвый, спокойно ешь.

Лена при первой же беседе сумела покосить мою систему ценностей сообщением о том, что Сигарев – ее любимый драматург, а «Страна Оз» – великое кино. Да, иногда самые добрые девушки мира живут в монастырях. Несмотря на жалобный нарисованный взгляд, первый жаворонок оказался

таким вкусным, что в глаза остальным двум я уже не смотрела.

Дело было после завтрака, в качестве послушания я помогала Лене разобраться с посудой. Зачастую трапезницей быть выгодно: кто-нибудь всегда оставит на столе лишний фрукт или вкусняшку. Это – трофей. Сегодня был виноград, который, как выяснилось, мало кто любит, в том числе и Лена, потому все ушло в мою пользу – едва не килограмм.

В разгар мытья посуды пришел голодный Шурик.

– Что, сенокос кончился? – спросила Новелла, протягивая ему тарелку с макаронами.

– Ты видишь на мне сено? – неожиданно ответил Шурик, начисто игнорируя факт зимы, и все опешили.

Он взял протянутую тарелку, зачерпнул из тазика вишню от компота и бросил ее на макароны. Темно-красные катышки художественно легли на неровную белую горку, и мы в полной мере осознали, что Шурик – эстет.

А потом Лене позвонили родители и сообщили про болезнь любимого кота. Не успела я подумать «ой», как Лена собралась и упорхнула в Москву с попутной машиной, оставив мне трапезную смену.

– Что происходит? – спросила я, когда, взволнованные Лениным отъездом, сестры собрались на кухне, чтобы обсудить дальнейшую жизнь.

– Видимо, пора выздоравливать, – сочувственно ответила мать Елена.

День десятый



Под утро снилось нечто прекрасное, но Церковью, особенно в пост, не поощряемое, и потому проснулась я в на-

строении дивном, но виноватом. Потянулась и вдруг поняла, насколько примитивно – до клеточки! – здорова. Как румяные толстоногие физкультурницы с маршей тридцатых годов. Ощущение силы собственного тела было после болезни неожиданно приятным, но от этого душа затаилась и к Богу была равнодушна. Грачи кричали на солнце. Коты кричали на март. Снег таял, в животе бурчало. Хотелось свершений.

– Давайте сегодня проведем занятие, – предложила матушка после завтрака, – а то в пятницу я уеду.

По пятницам в библиотеке проводятся богословские занятия. Кто-то делает доклад по теме, потом матушка дополняет, а чаще – попросту рассказывает не раскрытую докладчиком тему, потом все расходятся по послушаниям. На занятиях я была дважды: вопросов никто не задает. В первый раз я конспектировала, поскольку услышала волшебное «Борис Зайцев» – его духовником был обсуждаемый в тот день отец Киприан (Керн), и, собственно, это единственное, что я запомнила о столь выдающемся человеке. Сегодня же в огромные окна библиотеки било солнце, настрой царил поэтический: не хотелось лишних знаний, и я втихушку занялась стихами.

А библиотека в монастыре роскошная: опоясанная вторым этажом, стилизованная под Средневековье, с диванами и застекленными книжными шкафами, с пением цветных попугайчиков, живущих под потолком. С огромным и регулярно пополняющимся книжным фондом, а до пожара,

говорят, было еще больше книг, чем сейчас. С массивным овальным столом и не исчезающей с него гигантской Библией. В такой библиотеке хочется прожить жизнь.

Вообще в бытовом плане здесь все так удобно и выверено, как ни разу в жизни у меня не было. Есть стиральные машины, душевые кабины, даже кулер внизу стоит. Есть зимний сад, где всюю греется рассада и уже подрос зеленый лук, который мы едим за обедом. Есть куры, корова и козы, для них на кухне стоят разные отходные ведра. Есть свой огород и картофельное поле – но знакомство с ними мне только лишь предстоит. Есть беседка, теплицы, ровные газоны и клумбы. Удивительнее всего то, что монастырь живет без постоянного финансирования, за счет пожертвований и спонсорской помощи. Словом, почти у Христа за пазухой, как говорит матушка, чьей непосредственной заслугой являются уют и довольство нашего замкнутого мирка. А матушка у нас чудесная и всеми любимая – от нее веет добром и заботой. Когда она хвалит или просто говорит что-то доброе, внутри поднимается щекочущая волна тепла.

Однажды на вечернем пятничном богослужении мы с трапезницей Леной сидели на монашеских лавках перед алтарем, когда от дверей храма послышался шум и возмущенный голос.

– О! – улыбнулась Лена. – Матушка ругается!

И столько нежности было в ее голосе, что любой чурбан мог догадаться, насколько это нестрашно и трогательно: ма-

тушка ругается!

Сегодняшний доклад про отца Сергия (Четверикова) (схимонах Сергей (Четвериков). – *Примеч. ред.*) и его влияние на монашество делала насельница Наташа – та, что собралась воцерковлять столицу при помощи кота Сервелата. Несмотря на врожденную восторженность, чужую жизнь она излагала толково. Но я занималась своим делом и выхватывала из атмосферы отдельные слова: «Чернигов», «революция», «Париж», «тайный постриг», «написал книгу», «умер в 1947 году».

Матушкины уточнения были не в пример информативнее, впрочем, из них я тоже мало что почерпнула.

– Но за гробом не будет ни времени, ни пространства, ни возраста. Точнее, возраст у всех будет один. Я где-то читала... – Она отложила листок.

Я тряхнула головой и обратилась в слух, добирая мозгом то, что было сказано прежде.

– ...что всем будет 33 года – Христов возраст.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.